Московский попаданец

Коренной москвич

XIII века



18+

Владислав Надточий

Московский попаданец. Коренной москвич XIII века

«Автор»
2026

Надточий В. Д.

Московский попаданец. Коренной москвич XIII века /
В. Д. Надточий — «Автор», 2026

Что, если вы окажетесь в Москве за восемьсот лет до собственного рождения? А если выяснится, что самый коренной москвич здесь — обычный понаехавший?Варфоломей Вознесенский — экскурсовод, москвич в седьмом поколении и человек, который знает о столице практически всё. По крайней мере, он сам так считает.Но одно неудачное падение в древний колодец — и вместо привычной Москвы перед ним 1212 год. Деревянный Кремль, суровые дружинники, княжеские распри и жители, принимающие незнакомца за водяного!Ни денег, ни документов, ни связи. Зато при нём знания XXI века, неиссякаемое чувство юмора и талант попадать в неприятности.Как выжить в Средневековье, если даже дрова колоть не умеешь? Можно ли изменить историю, не потеряв голову? И главное — удастся ли вернуться к любимой женщине, которой так и не сделал предложение?«Московский попаданец. Коренной москвич XIII века» — приключения, исторические курьёзы и искромётный юмор в Москве, которой вы ещё не знали!

© Надточий В. Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Коренной москвич 6
Глава 2. Понаехал 13
Глава 3. Без бумажки 21
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Владислав Надточий
Московский попаданец.
Коренной москвич XIII века

Все события и персонажи настоящего произведения вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми, организациями, местами и событиями случайны.

Глава 1. Коренной москвич

Есть два типа людей, которые приходят на экскурсию по Москве. Первые слушают. Вторые фотографируют голубей. Есть ещё третий тип, самый опасный: те, кто знает лучше экскурсовода. Их обычно бывает один на группу, и в ту субботу он у меня тоже был. Он стоял в первом ряду, в бежевом плаще, держал зонт как шпагу и смотрел на меня так, как смотрит учитель на ученика, который сейчас скажет у доски какую-нибудь чушь.

— Итак, дамы и господа, — сказал я в мегафон, — мы стоим на Варварке, одной из древнейших улиц Москвы. На самом деле, когда я говорю «древнейших», я не преувеличиваю. Здесь ходили люди, когда никакой Москвы ещё не было. Здесь был торг, здесь была пристань, здесь стучали топоры и ругались купцы. И, между прочим, ругались они так же, как сейчас ругаются в пробке на Садовом. Я знаю, о чём говорю. Я коренной москвич в седьмом поколении.

Это была моя любимая фраза. Я произносил её на каждой экскурсии, обычно в первые пять минут, чтобы группа сразу поняла, с кем имеет дело. Не с каким-то студентом, который выучил текст по методичке, а с человеком, у которого Москва в крови. Мой прапрапрадед, если верить семейному преданию, пел на клиросе в Китай-городе ещё при Наполеоне. Правда, при Наполеоне он пел недолго, потому что Китай-город сгорел, но это уже детали.

— В седьмом? — спросила женщина в бежевом плаще. — А считали как?

— Простите?

— Поколения, говорю, как считали? По мужской линии или по женской? Если по женской, то у всех нас, голубчик, рано или поздно вылезет какая-нибудь бабушка из-под Рязани.

Группа захихикала. Это была Клавдия Петровна, учительница истории на пенсии из Твери. Она представилась ещё у метро, сказала, что сорок лет преподавала в школе и что её «не проведёшь». За первые сорок минут экскурсии она поправила меня четыре раза. Дважды по делу.

— По мужской, — сказал я с достоинством. — Вознесенские. Все до единого москвичи. Все до единого служили в храмах. Мой отец служит, дед служил, прадед служил. У нас в семье даже кот был москвич. Его нашли у Никитских ворот.

— Ну, кот ещё ладно, — сказала Клавдия Петровна. — Коты все местные.

Дождь моросил с самого утра. Тот мелкий апрельский дождь, который не льёт, а висит в воздухе, как пар в бане, и через полчаса ты мокрый с головы до ног, хотя ни одна капля на тебя вроде бы не падала. Группа у меня была небольшая, восемь человек. Клавдия Петровна. Молодая пара из Иркутска, которые всё время держались за руки и фотографировали друг друга на фоне всего подряд. Двое японцев, вежливых, как фарфор. Женщина из Подольска, которая пришла, по-моему, просто потому, что у неё был сертификат и он сгорал в понедельник. И Лопуховы из Самары: отец, Вячеслав, крупный весёлый мужчина в кепке, и сын Кирилл, четырнадцати лет, который за всё время ни разу не поднял глаза от телефона.

— Кирилл, — сказал я в мегафон, — посмотри, пожалуйста, налево. Это палаты, где жили бояре Романовы.

— Угу, — сказал Кирилл, не поднимая глаз.

— Кирилл, ты сейчас стоишь на том самом месте, где, возможно, ступал юный Михаил Фёдорович.

— Угу.

— Он был твоего возраста, когда его избрали на царство.

Кирилл поднял глаза.

— Чё, правда?

— Шестнадцать лет. Почти твой.

— Нормально, — сказал Кирилл с уважением и снова уткнулся в телефон. Но я видел, что он что-то ищет. Наверное, сколько лет было Михаилу Фёдоровичу. Это была маленькая победа. Я люблю маленькие победы. Большие в моей профессии случаются редко.

Меня зовут Варфоломей Феодосьевич Вознесенский. Мне сорок один год. Да, Варфоломей. Да, Феодосьевич. Нет, я не монах. Нет, я не из сериала. Мои родители назвали меня в честь святого, на чей день я родился, и в школе меня поэтому звали Варфоломеевской ночью, потом Варей, а в музыкальном училище просто Бартом. Барт прижился. Для туристов я Барт, так проще. Для мамы я Варфоломеюшка. Для Полины я Варик. А для налоговой я Вознесенский В. Ф., индивидуальный предприниматель, авторские экскурсии «Москва для своих».

Я вырос в семье священника. Это значит, что всё детство я провёл на клиросе, рядом с мамой, которая была регентом хора. Мама дирижировала, четыре моих старших сестры пели, а я стоял с краю и тянул басовую партию, когда у меня ещё не было баса. Голос у меня поставлен с семи лет. Я могу без мегафона перекричать Тверскую в час пик, и однажды это сделал, на спор, за бутылку кваса. Потом было музыкальное училище по классу тромбона, шесть лет в оркестре музыкального театра, где я сидел в яме и смотрел на балетные туфли над головой, и в конце концов курсы экскурсоводов. Потому что тромбон в Москве никому не нужен, а Москва в Москве нужна всем.

Ну, кроме Кирилла.

— Пройдёмте, — сказал я и поднял над головой свою уточку.

Уточка — это мой флажок. Жёлтая резиновая утка, примотанная изолентой к телескопической палке. Её придумала Полина. Сказала, что флажки бывают у всех, а уточка будет только у меня, и туристы никогда не потеряют меня в толпе. Она оказалась права. За пять лет я не потерял ни одного туриста. Правда, однажды за мной полчаса шла группа немцев, которые решили, что я их гид, а их собственный гид был с уточкой похуже, но это уже не моя проблема.

Мы двинулись вниз по Варварке. Японцы шли за мной след в след. Пара из Иркутска остановилась сфотографироваться у фонаря. Женщина из Подольска купила кофе в бумажном стаканчике. Вячеслав Лопухов шёл рядом со мной и задавал вопросы, на которые я любил отвечать.

— А вот скажите, Барт, — говорил он, — а Москва вообще с какого года?

— Первое упоминание в летописи, тысяча сто сорок седьмой год. Юрий Долгорукий пишет своему союзнику: «Приди ко мне, брате, в Москов». И устраивает ему обед силен. На самом деле это самая московская история на свете. Первое, что мы знаем про Москву: здесь хорошо кормили гостей.

— А до этого?

— А до этого тут жили вятичи. Племя такое. Лесное, суровое. Ходили в лаптях и носили на висках семилопастные кольца.

— А, — сказал Вячеслав. — Это как у нас в Самаре серьги носят.

— Примерно, — согласился я.

— Стоп, — сказала Клавдия Петровна сзади. — «Обед силен» это не про гостей, голубчик. Это про то, что обед был большой. Сильный. Обильный. А гостей там было двое. Князь и князь.

— Да, но они были гости.

— Один гость. Второй хозяин.

— Клавдия Петровна, — сказал я ласково, — давайте я буду рассказывать, а вы поправлять в конце, хорошо? Чтобы все успели насладиться обоими.

Группа засмеялась. Клавдия Петровна тоже, к её чести. Она погрозила мне зонтом и сказала, что поправлять в конце неинтересно, потом все забывают, что именно было неправильно.

У меня зазвонил телефон. Я посмотрел на экран и вздохнул. Мама.

Мама звонит мне каждую субботу ровно в два часа дня. Она знает, что по субботам у меня экскурсии. Она знает, что в два часа я обычно на середине маршрута. И именно поэтому она звонит в два, потому что в это время я не могу долго разговаривать и не успеваю отвертеться.

— Простите, это мама, — сказал я группе. — Две минуты. Посмотрите пока налево, это Старый Английский двор. Здесь английские купцы торговали сукном при Иване Грозном. Если кто-то хочет сфотографироваться, сейчас самое время.

Японцы немедленно начали фотографироваться. Остальные отвернулись из вежливости. Кроме Клавдии Петровны.

— Варфоломеюшка, — сказала мама в трубку. — Ты где?

— На работе, мам. Варварка.

— Хорошая улица. Святая великомученица Варвара. Ты свечку поставил?

— Мам, у меня группа.

— Группа подождёт. Я по делу. Ты помнишь, что в следующую субботу у Олечки годовщина?

Олечка — это моя третья сестра. У неё пятеро детей, и годовщину свадьбы они празднуют так, что в квартиру приходится заходить по очереди.

— Помню.

— Полину возьмёшь?

— Конечно.

— А как ты её представишь?

Вот. Вот оно. Ради этого вопроса мама звонила мне каждую субботу последние полтора года. Я посмотрел на Старый Английский двор. Английский двор посмотрел на меня. Ему было пятьсот лет, и он видел всякое, но, по-моему, даже он мне сочувствовал.

— Как Полину, — сказал я.

— Девять лет, — сказала мама. — Девять лет, Варфоломеюшка. Твой отец сделал мне предложение через три недели. Через три. Он пришёл ко мне на спевку с ромашками и сказал при всём хоре. У Анечки было через полгода. У Машеньки через год, но Машенька у нас медленная. А ты? Тебе сорок один год. Полина святая женщина. Она терпит тебя, твою утку и твой тромбон. Чего ты ждёшь?

— Подходящего момента, мам.

— Подходящий момент, — сказала мама, — был восемь лет назад. И семь. И шесть. Варфоломеюшка, я тебя прошу. Отец тебя просит. Отец Феодосий, между прочим, настоятель, ему уже прихожане вопросы задают. Говорят: батюшка, а ваш сын что, во грехе живёт? А что он им скажет?

— Скажет, что я экскурсовод.

— Это не оправдание.

После разговора с мамой я понял, что семейный совет вступил в решающую фазу. До этого меня брали измором поодиночке. Отец говорил о продолжении рода, мама — о Полинином терпении, тётя Анечка присылала фотографии свадебных тортов, а двоюродная сестра раз в месяц спрашивала, не нужна ли мне скидка у хорошего фотографа. Теперь они объединились.

В воскресенье отец позвонил и сказал, что ему требуется моя помощь в храме. Я приехал, ожидая увидеть заклинившую дверь ризницы или туристов, которые снова перепутали подсвечник с ящиком для пожертвований. В трапезной сидели мама, тётя Анечка, моя двоюродная сестра и отец Феодосий. Перед ними лежали три каталога колец.

— Это засада, — сказал я.

— Это семья, — поправила мама. — Садись.

Отец Феодосий снял очки и посмотрел на меня тем взглядом, которым обычно смотрел на человека, поставившего свечу не туда.

— Варфоломей, — сказал он, — брак есть таинство.

— Я знаю, пап.

— Девять лет знаешь.

Тётя Анечка открыла каталог на кольцах с бриллиантами. Я закрыл. Она открыла на кольцах с сапфирами. Я закрыл. Двоюродная сестра показала вариант с гравировкой «Навсегда». Я сказал, что слово опасное и юридически обязывающее. Мама сказала, что именно в этом смысл.

В конце концов я признался, что кольцо уже купил. Наступила тишина. Такая тишина бывает в экскурсионном автобусе, когда говоришь: «А теперь посмотрите направо», — а справа вместо Кремля оказывается шиномонтаж.

— Когда? — спросила мама.

— Полгода назад.

— И где оно?

— Дома.

— Почему не на Полине?

— Жду момента.

Отец Феодосий перекрестился. Тётя Анечка спросила, не испортится ли бриллиант от долгого хранения. Двоюродная сестра сказала, что бриллианты лежат в земле миллионы лет. Мама ответила, что там они хотя бы при деле.

Я уехал с обещанием сделать предложение в ближайшую субботу. Мама потребовала точную дату, время и адрес. Я отказался сообщать адрес, потому что знал: если сообщу, в соседних кустах будут сидеть родственники, отец Феодосий и храмовый хор.

В машине я достал бархатную коробочку, посмотрел на кольцо и сказал:

— В эту субботу.

Навигатор ответил: «Маршрут построен».

Это был единственный участник семейного совета, который не стал задавать дополнительных вопросов.

— Мам, у меня правда группа. Японцы.

— Японцам привет, — сказала мама. — И Полине. Скажи ей, что я испекла курник и что жду вас обоих. Как жениха и невесту. Хотя бы в шутку.

Она положила трубку. Я сунул телефон в карман куртки и машинально нащупал в другом кармане маленькую бархатную коробочку. Она лежала там четырнадцать месяцев. Я купил кольцо в феврале прошлого года, в ювелирном на Мясницкой, после очень долгих консультаций с продавщицей, которая под конец сказала мне: «Мужчина, она скажет да, идите уже». С тех пор я носил его в кармане. Каждый день. В куртке, в пиджаке, в пальто. Однажды забыл в джинсах, и кольцо вместе с джинсами постиралось, и я полночи сушил коробочку феном, пока Полина спала. Она проснулась и спросила, почему пахнет горелым бархатом. Я сказал, что сушил носки. Она посмотрела на меня очень странно.

Почему я не делал предложение? Хороший вопрос. Мама считала, что я трус. Сёстры считали, что я эгоист. Полина ничего не считала, потому что ничего не знала про кольцо, и это было единственное, что меня утешало. А сам я считал, что жду подходящего момента. Предложение должно быть идеальным. На Воробьёвых горах на рассвете. Или в Коломенском под колокольный звон. Или на крыше дома на Котельнической, куда меня обещал пустить знакомый смотритель. Каждый раз что-нибудь мешало. На Воробьёвых горах был туман. В Коломенском был ремонт колокольни. А смотритель на Котельнической уволился.

— Плохие новости? — спросила Клавдия Петровна, которая всё это время стояла рядом и, разумеется, всё слышала.

— Мама, — сказал я.

— Женить хочет?

Я посмотрел на неё с изумлением.

— Сорок лет в школе, голубчик, — сказала Клавдия Петровна. — Я по лицу вижу, когда у мальчика дневник в портфеле, а когда двойка. У вас двойка. И, по-моему, давно.

— Пройдёмте дальше, — сказал я громко в мегафон.

Мы спустились к Зарядью. Дождь усилился, и японцы раскрыли одинаковые прозрачные зонты. Пара из Иркутска надела капюшоны и стала фотографироваться в капюшонах. Женщина из Подольска допила кофе и выбросила стаканчик в урну. Кирилл по-прежнему смотрел в телефон, но я заметил, что он идёт ближе ко мне, чем раньше. Михаил Фёдорович сделал своё дело.

У церкви Святой Варвары я остановился и начал рассказывать про Зарядье. Это моя любимая часть экскурсии. Я рассказываю про то, как здесь сто лет назад был самый грязный и весёлый квартал Москвы, где жили ремесленники, торговцы, старьёвщики и перекупщики. Как его снесли, как построили гостиницу «Россия», как снесли гостиницу и разбили парк. Я рассказываю про то, что под нашими ногами лежат восемь метров культурного слоя. Восемь метров истории. Мостовые, срубы, черепки, пуговицы, монеты, обувь. Каждый век оставил здесь свой этаж.

— И вот вы спросите, — говорил я, — кто они были, эти люди? Кто жил здесь восемьсот лет назад? Отвечу. Настоящие москвичи. Коренные. Те самые, от которых мы все ведём род. Ну, кто ведёт.

— А кто не ведёт? — спросил Вячеслав Лопухов, ухмыляясь.

— А кто не ведёт, тот, простите, понаехал. Ничего страшного. Москва всех принимает. Но коренные, они, понимаете, другие. Они здесь в земле. Они эту землю чувствуют.

— Это вы сейчас про себя? — уточнила Клавдия Петровна.

— Отчасти, — сказал я скромно.

— А вот у меня, голубчик, вопрос, — сказала Клавдия Петровна. — Где же эти коренные взялись, если до Долгорукого тут жили вятичи, а вятичи, как вы сами сказали, пришли с запада? А при Долгоруком сюда понаехали со всей Суздальской земли? А потом из Новгорода, из Твери, из Рязани, со всего света?

— Ну, — сказал я, — это вопрос сложный.

— Это вопрос простой, — сказала Клавдия Петровна. — Сложный у вас ответ.

Я хотел ей возразить. У меня были заготовлены аргументы. Но в этот момент из-за забора, мимо которого мы шли, меня окликнули.

— Вознесенский! Варька! Ты, что ли?

Я повернулся. Из-за синего строительного забора, на котором висела табличка «Охранные археологические работы. Проход запрещён», выглядывала голова в оранжевой каске. Под каской было знакомое лицо, всё в веснушках и в глине.

— Арина?

— Ну а кто ещё? — сказала Арина Белова и широко улыбнулась. — Тридцать лет не виделись! Ты всё со своей уткой?

Мы с Ариной учились в одном классе. Она сидела за мной и всю начальную школу дёргала меня за ухо, а в восьмом классе мы вместе ходили в археологический кружок при Доме пионеров, пока я не ушёл в музыкалку. Арина не ушла. Арина стала археологом. Настоящим, с экспедициями, раскопами и статьями, которые я иногда читал, когда хотел почувствовать себя дилетантом.

— А ты всё с лопатой, — сказал я.

— С совочком, — поправила Арина. — Лопатой у нас только рабочие. Слушай, это твоя группа? Хотите посмотреть? Только тихо и только по мосткам. Мы такое нашли, ты не поверишь.

Я посмотрел на группу. Группа посмотрела на меня. Даже Кирилл поднял глаза от телефона. Есть слова, которые действуют на туристов безотказно, и «такое нашли» одно из них.

— Разве можно? — спросил я.

— Нельзя, — сказала Арина. — Но сегодня суббота, начальство на даче, а я начальник раскопа. Пять минут. Каски наденьте.

Она выдала нам каски из синего контейнера у калитки. Каски были оранжевые, большие и пахли чужими головами. Японцы надели их с благоговением и немедленно сфотографировались друг с другом. Пара из Иркутска надела каски поверх капюшонов. Клавдия Петровна надела каску так, как надевала, наверное, шляпку на выпускной сорок лет назад, и даже поправила её набок.

Раскоп был большой, метров двадцать на тридцать, огороженный забором и накрытый от дождя белым тентом на металлических стойках. Под тентом пахло мокрой землёй, деревом и чем-то древним, чего я не мог назвать. По краю раскопа шли деревянные мостки с перилами, а внизу, метрах в пяти под нами, лежали ровные квадраты земли, разбитые шнурами и колышками. Там и сям торчали тёмные брёвна. Я сразу понял, что это. Срубы. Нижние венцы срубов, которые простояли под землёй восемьсот лет и сохранились, потому что земля здесь мокрая и воздуха в ней нет.

— Двенадцатый, тринадцатый век, — сказала Арина, когда мы встали на мостки. — Домонгольский слой. Тут была усадьба. Видите брёвна? Это мостовая. А вот там, видите, пятно? Это яма, мы из неё вчера достали два стеклянных браслета и деревянную ложку. Целую. С узором.

— Ох ты, — сказал Вячеслав Лопухов.

— А теперь главное, — сказала Арина. Глаза у неё горели, как у девчонки в археологическом кружке. — Пойдёмте.

Она провела нас по мосткам в дальний угол раскопа. Там, у самой стенки, мостки поворачивали и выходили на небольшую площадку, а под площадкой, внизу, был круглый тёмный провал. Его окружали брёвна, сложенные квадратом. Внутри стояла вода. Чёрная, неподвижная, как зеркало.

— Колодец, — сказала Арина. — Позавчера открыли. Сруб целый, двенадцать венцов. Глубину пока не знаем, щупом не достали до дна. И вода в нём стоит. Представляете? Восемьсот лет, а он живой. Его питает родник. Тут под нами где-то ключи бьют, мы весь сезон с насосами воюем.

Все замолчали. Даже японцы перестали фотографировать. Мы стояли на мостках, на краю восьмисотлетнего колодца, и смотрели в чёрную воду. Дождь шуршал по тенту. Где-то вдалеке гудела машина на Москворецкой набережной.

И тут меня понесло. Со мной это бывает. Я экскурсовод, а экскурсовод, который стоит над восьмисотлетним колодцем перед замолчавшей группой, не может просто молчать. Это противоречит его природе. Как тромбонисту не сыграть, когда дирижёр поднял палочку.

— Вот, — сказал я тихо, проникновенно, без мегафона. — Вот она. Настоящая Москва. Вы видите эту воду? Из этого колодца пили наши предки. Коренные москвичи. Женщины приходили сюда с вёдрами, на коромыслах, и говорили о своём. О детях, о мужьях, о ценах на торгу. Здесь никто не спрашивал, откуда ты приехал, потому что никто ниоткуда не приезжал. Они все были отсюда. Они родились здесь и умерли здесь. Это и есть настоящие коренные москвичи, понимаете? Не мы с вами. Не те, кто приехал вчера из Самары или Иркутска, я никого не хочу обидеть. А они. Мои предки. Вот из этого колодца пили мои...

Я сделал шаг назад, чтобы охватить жестом весь раскоп. Мне хотелось, чтобы жест был широкий, как у Шаляпина. Я поднял уточку над головой.

Мостки на повороте были мокрые. Перила кончались на полметра раньше, чем мне казалось. Это я понял уже потом, а тогда я только почувствовал, как нога в мокром ботинке съез-

жает с края доски, как уточка улетает куда-то вверх, а сам я, вместе с мегафоном на поясе и сумкой через плечо, лечу вниз. Я успел услышать, как Арина крикнула «Варька!», как Клавдия Петровна сказала «ну я же говорила», хотя ничего такого она не говорила, и как кто-то из японцев, по-моему, сделал снимок.

А потом была вода.

Она была холодная. Не просто холодная, а такая, какой бывает вода в роднике в апреле: ледяная, обжигающая, вышибающая из головы все мысли. Я ушёл в неё с головой, и меня сразу потащило вниз, как будто внизу была не земля, а воронка. Я хотел крикнуть и наглотался воды. Вода была сладкая. Я это почему-то запомнил. Сладкая, чистая, с привкусом железа.

Я барахтался, но руки не находили стенок колодца. Их не было. Был только чёрный холод и течение, которое крутило меня и тянуло куда-то вбок, вниз и снова вбок, как в стиральной машине. У меня мелькнула глупая мысль, что хорошо бы сейчас вспомнить что-нибудь важное, как в кино. Вспомнилась Полина. Она стоит у плиты в моей старой футболке, жарит сырники и говорит: «Варик, ты опять оставил уточку в ванной». Потом вспомнилось кольцо в кармане. Мысль была очень отчётливая: «Ну вот. Так и не сделал». И ещё почему-то вспомнилась мама, которая говорит: «Подходящий момент был восемь лет назад».

Потом течение ударило меня обо что-то твёрдое, перевернуло, и впереди, наверху, вдруг стало светло. Не так, как светлеет под тентом в дождливый день. А по-настоящему светло, как бывает, когда солнце бьёт в воду. Я заработал руками и ногами из последних сил. Свет приближался. Вода становилась теплее. Я вынырнул, глотнул воздуха и закашлялся так, что чуть не ушёл обратно.

Я стоял по пояс в воде. Вокруг был не раскоп. Вокруг не было ни тента, ни забора, ни мостков, ни Арины в оранжевой каске. Я стоял в маленьком круглом бочажке с прозрачной водой, на дне которого бурлил песок. Из-под корней огромной ивы в бочажок била струя родника. Над головой было синее небо, ни облачка. Пахло талой землёй, дымом и навозом. Пели птицы. Много птиц, как не поют в Москве никогда, даже в Нескучном саду на рассвете.

А прямо передо мной, на бережку, сидела рыжая девочка лет десяти, в длинной холщовой рубахе, с деревянным ведёрком в руках. Ведёрко было тоже деревянное, бондарное, с обручами. Девочка смотрела на меня с открытым ртом.

Я посмотрел на неё. Она посмотрела на меня. Потом на мою жёлтую куртку. Потом на мегафон на поясе. Потом опять на меня.

— Здравствуй, девочка, — сказал я хрипло. — Скажи, пожалуйста, где тут Варварка?

Девочка уронила ведёрко, вскочила и с визгом бросилась бежать вверх по тропинке, сверкая босыми пятками. На бегу она кричала одно слово, и это слово я понял сразу, хотя произносила она его как-то странно, нараспев, с непривычным оканьем:

— Водяной! Водяной вылез! Тятя! Водяной!

Глава 2. Понаехал

Первые десять минут я был совершенно уверен, что это реконструкция.

Это была очень логичная мысль, и я за неё держался, как утопающий за бревно. Я упал в колодец. Колодец питается родником. Родник выходит где-то к реке. Меня протащило под землёй и выбросило на берег Москвы-реки, где-нибудь у Китайгородского проезда или ниже, у Котельнической. А на берегу как раз идёт исторический фестиваль. В Москве каждую весну их проходит штук двадцать. Ходят девочки в рубахах, мальчики в кольчугах, все с деревянными вёдрами, и, если ты к ним подойдёшь в жёлтой куртке, тебя обязательно назовут водяным, потому что им скучно и хочется поиграть.

Я вылез из бочажка, отряхнулся и огляделся.

Мысль про реконструкцию начала тонуть.

Во-первых, не было набережной. Вообще. Ни гранита, ни парапета, ни машин. Был пологий берег, заросший ивняком, и широкая мутная река, вздувшаяся от половодья. Река разлилась так, что противоположного берега почти не было видно: из воды торчали верхушки кустов и тёмные островки. На воде качались лодки, длинные, остроносые, с высокими бортами. Одна была с парусом. Парус был из грубой ткани, рыжий, в заплатах.

Во-вторых, не было города. Справа от меня, над рекой, поднимался высокий холм, поросший соснами. Я узнал этот холм. Я не мог его не узнать, я двадцать лет водил по нему людей. Это был Боровицкий холм. Только на нём не было Кремля. Не было красных стен, не было башен, не было золотых куполов и колокольни Ивана Великого. На вершине холма стояла деревянная стена. Тёмная, из толстых брёвен, поставленных стоймя, с несколькими приземистыми башенками и воротами. Под стеной шёл вал, а под валом ров. Из-за стены поднимались дымки. Где-то за стеной, за соснами, виднелась маковка деревянной церкви. Одна.

Вся крепость была размером, по моим прикидкам, с хороший торговый центр. Может быть, с два.

В-третьих, внизу, между холмом и рекой, где сейчас тянется Кремлёвская набережная и Зарядье, лежал посад. Десятки, может быть, сотни деревянных изб, крытых тёсом и соломой, обнесённых плетнями. Между избами шли улочки, вымощенные брёвнами. Над крышами стелился дым. Где-то мычала корова, где-то стучал молот, кто-то кричал, кто-то пел. У берега стояли амбары и длинные сараи, к ним были причалены лодки, и вокруг лодок толпились люди в рубахах, кафтанах и шапках.

Ни одного телефона. Ни одной кроссовки. Ни одного пакета.

— Так, — сказал я вслух. — Варфоломей, без паники.

Я достал телефон. Телефон был мокрый, но живой: у меня противоударный и водонепроницаемый, Полина подарила на день рождения, после того как я утопил два предыдущих в Яузе. Экран загорелся. Сеть: нет сети. Ну правильно. Под землёй и не должно быть сети. Я поднял телефон повыше. Нет сети. Я залез на пенёк. Нет сети. Двадцать процентов батареи. Суббота, восемнадцатое апреля, пятнадцать часов одиннадцать минут.

— Это что же, — сказал я, — тут и вышек нет?

Я спрыгнул с пенька. Тропинка от родника вела наверх, к посаду. По ней ко мне быстрым шагом шёл мужик. Мужик был крупный, с короткой русой бородой, в рубахе с закатанными рукавами, в портах, заправленных в обмотки, и в кожаных поршнях на ногах. В руке он держал топор. Рядом с ним вприпрыжку бежала рыжая девочка и показывала на меня пальцем. За ними бежал мальчишка лет шести, тоже рыжий, и орал на всю округу. Слов было не разобрать, но смысл был понятен: «Водяной, водяной, водяной!»

А за ними, чуть поодаль, шли ещё люди. Пять. Десять. Пятнадцать. Женщины с коромыслами, старик с клюкой, двое парней с вилами, баба с младенцем на руках. Весь посад, похоже, решил посмотреть на водяного.

Мужик с топором остановился шагах в пяти от меня и оглядел меня с головы до ног.

Я оглядел себя тоже, его глазами. Жёлтая непромокаемая куртка, в которой меня видно с Луны. Мокрые джинсы. Ботинки на толстой подошве. На поясе мегафон. Через плечо сумка. Борода, правда, своя. Борода у меня есть, короткая, аккуратная, папа говорил, что с ней я похож на молодого дьякона. Наверное, борода меня и спасла.

— Ты кто есть? — спросил мужик.

Говорил он странно. Я понимал слова, но не сразу. Он произносил «о» там, где мы говорим «а», а некоторые звуки тянул, как будто пел. Слово «есть» он сказал как «єсть», с каким-то призвуком. Это было похоже на церковнославянский, который я с детства слышал на службе, только живой, быстрый и деревенский. Я вдруг понял, что, если я сейчас заговорю обычным языком, он меня не поймёт. Или поймёт так же медленно, как я его.

Я набрал воздуха и сказал по-церковному, медленно и отчётливо, как папа читает Апостол:

— Аз есмь человек. Не водяной. Человек.

По толпе прошёл шорох. Женщины переглянулись. Старик с клюкой перекрестился. Мужик с топором прищурился.

— По-книжному глаголет, — сказал старик. — Аки поп.

— Чернец, — сказала баба с младенцем. — Беглый.

— Какой чернец в жёлтом? — сказал один из парней с вилами. — Чернецы в чёрном ходят. Оттого и чернецы.

— Може, грек? — спросил другой. — Греки, бают, жёлтое носят.

— Сам ты грек, — сказала баба. — Грек кудрявый, а этот рыжеватый.

— Я не рыжеватый, — сказал я машинально. — Я русый.

Толпа ахнула. Видимо, «русый» я сказал понятно. Это их обрадовало. Мальчишка подобрался поближе и потрогал мою куртку пальцем. Куртка была скользкая. Мальчишка отскочил и восторженно заорал.

— Шумилка, — сказал мужик с топором, не оборачиваясь, — отойди.

Мальчишка не отошёл.

— Шумилка, — повторил мужик.

Мальчишка отошёл. На полшага.

— Ты откель пришёл? — спросил мужик. — Из воды вылез, Нежка бает. Сама видала.

— Видала, — подтвердила рыжая девочка. — Из Студенца. Голова из воды, а потом весь. Жёлтый. Я и ведёрко упустила.

Студенец, значит. Родник называется Студенец. Это было интересно.

— Я из Москвы, — сказал я.

Мужик моргнул.

— Так это Москва и есть, — сказал он и показал топором на холм с деревянной стеной.

— Нет, — сказал я. — Это не Москва. То есть Москва, но не та. Я из настоящей Москвы.

Толпа замолчала. Мужик посмотрел на холм. Потом на меня. Потом снова на холм.

— А энта ненастоящая? — спросил он с обидой.

— Энта настоящая, — сказал я поспешно. — Просто маленькая. Я из большой.

— Из большой Москвы, — повторил старик с клюкой и покачал головой. — Ишь ты.

— Я там живу, — сказал я. — На Плющихе. Родился на Пятницкой. Я коренной москвич в седьмом поколении.

Это была ошибка. Я понял это сразу, как только сказал. Мужик с топором переглянулся со стариком. Баба с младенцем фыркнула. Парни с вилами захохотали.

— Седьмом колене! — сказал один. — Слыхали? Москве-то и ста лет нету!

— Мой дед её и ставил, — сказал старик с клюкой с гордостью. — Город-то. При князе Юрье, при Долгой Руке. Дед из Суздаля пришёл, брёвна возил.

— А мой отец из Ростова, — сказала баба.

— А мы смоляне, — сказал парень.

— А мы с Клязьмы.

— А мы рязанские, — сказала одна из женщин с коромыслом и почему-то покраснела.

— Рязанских тут не любят, — шепнул мне старик доверительно. — Они Москву жгли. При Глебе. Я малой был, а помню. Всё погорело.

Все загалдели. Каждый хотел рассказать, откуда он приехал. Я стоял посреди толпы, мокрый, в жёлтой куртке, и слушал, как сорок человек, перебивая друг друга, рассказывают мне, что они понаехали. Из Суздаля, из Ростова, из Смоленска, из Владимира, из Переяславля, с Клязьмы, с Оки, из каких-то деревень, названий которых я никогда не слышал. Ни один не сказал, что он отсюда. Ни один.

— А кто здесь родился? — спросил я. — Здесь, в Москве?

Толпа замолчала и подумала.

— Нежка, — сказал мужик с топором. — Нежка тут родилась. И Шумилка. Мои.

— Я тут родилась, — подтвердила рыжая девочка гордо. — Мне десять годов.

— Ну вот, — сказал я. — Значит, коренная.

— Чего? — спросила Нежка.

— Коренная москвичка, — сказал я. — Это значит, что твои корни здесь.

Нежка подумала. Посмотрела на свои босые ноги.

— А зачем мне корни? — спросила она. — Я ж не репа.

Толпа захохотала опять. Я понял, что спорить бесполезно. Я понял ещё кое-что, и это было гораздо хуже. Я понял, что меня обступили люди, у которых не было ни одного пластикового предмета. Ни одной пуговицы фабричной работы. Ни одного шва, сделанного машинкой. У всех были одинаково обветренные лица, мозолистые руки, и у всех, даже у детей, были такие зубы, какие бывают у людей, которые никогда не ели сахара. Полина бы оценила. Полина ортодонт. Полина посмотрела бы на эти зубы и сказала бы: «Варик, это не реконструкция. Это прикус».

Сквозь толпу протолкался высокий человек с вислыми седеющими усами, в кольчуге поверх рубахи, с мечом на поясе и в остроконечном шлеме. Шлем был старый, с вмятиной. За ним шли двое парней помоложе, тоже в кольчугах, с копьями. Толпа сразу расступилась. Даже Шумилка отошёл на целый шаг.

— Что за шум? — спросил усатый.

— Водяной, Ратибор, — сказал мужик с топором. — Из Студенца вылез. Нежка видала.

— Не водяной я, — сказал я. — Человек.

— Человек, — повторил усатый, которого звали Ратибор, и оглядел меня так же, как раньше мужик с топором. Только дольше и внимательнее. Он посмотрел на мою куртку, на ботинки, на мегафон, на сумку, на бороду, на руки. Руки он рассматривал особенно долго. У меня руки экскурсовода и тромбониста: пальцы длинные, мозолей нет, разве что на губах от мундштука, но губы он не разглядывал.

— Руки белые, — сказал он. — Не пахал, не рубил. Не воин. Не холоп. Одежда невиданная. Откуда ты?

— Из Москвы, — сказал я. Терять было уже нечего.

— Из большой, — подсказал старик с клюкой. — Он бает, есть большая Москва. А наша малая.

Ратибор посмотрел на старика так, что тот сразу замолчал. Потом снова посмотрел на меня.

— Ныне, — сказал он медленно, — время недоброе. Великий князь Всеволод Юрьевич преставился во Владимире. Сыновья его делят землю. Константин в Ростове, Юрий во Владимире, и меж ними нелюбье. По дорогам лазутчики ходят. Ты, человече, чей будешь? Ростовский?

Я понял не всё, но главное понял. Великий князь Всеволод Юрьевич. Всеволод Большое Гнездо. У него было двенадцать детей, отсюда и прозвище. Он умер весной тысяча двести двенадцатого года, это я знал точно, потому что в экскурсии по Кремлю у меня была целая байка про то, как его сыновья поругались из-за наследства, и я всегда сравнивал это с тем, как делят дачу. Туристам нравилось.

Если великий князь Всеволод только что умер, значит, сейчас тысяча двести двенадцатый год. Весна.

Я сел на землю. Прямо там, где стоял. Ноги отказали.

— Человече? — спросил Ратибор.

— Какое ныне лето? — спросил я. Голос у меня был странный, тонкий, как у мальчика на клиросе.

— Шесть тысяч семьсот двадцатое от сотворения мира, — сказал Ратибор. — Месяц апрель.

Шесть тысяч семьсот двадцать. Я машинально отнял пять тысяч пятьсот восемь. Этому меня научил папа, когда мне было лет девять: он показывал мне старые книги с датами от сотворения мира и говорил, что, если отнять пять тысяч пятьсот восемь, получится наш год. Иногда надо отнимать пять тысяч пятьсот девять, в зависимости от месяца, но сейчас это было неважно.

Тысяча двести двенадцатый. Плюс-минус год.

— Восемьсот четырнадцать лет, — сказал я вслух.

— Чего? — спросил Ратибор.

— Ничего, — сказал я. — Я просто посчитал, сколько мне идти до дома.

Ратибор переглянулся с мужиком с топором. Мужик пожал плечами. Нежка, которая подобралась ко мне совсем близко, присела на корточки и заглянула мне в лицо.

— Ты плачешь? — спросила она.

— Нет, — сказал я. — Это вода из глаз.

— А у нас это плачут, — сказала Нежка.

Пришлось признать, что терминология в тринадцатом веке была поставлена лучше моей.

Пока я вытирал лицо рукавом, вокруг собрались остальные. Ратибор хотел знать, откуда я пришёл. Добромила — умею ли я работать. Твердило — почему моя куртка не промокает. Шумилка — можно ли ему нажать красную кнопку на мегафоне. Козёл Боярин вопросов не задавал, он сразу перешёл к исследованию шнурка.

Я попытался объяснить, что я экскурсовод.

— Это кто? — спросил Ратибор.

— Человек, который водит людей по городу и рассказывает, что здесь было раньше.

— Волхв, — решил Ратибор.

— Нет.

— Сказитель, — предложил Твердило.

— Не совсем.

— Бездельник, — сказала Добромила.

Я подумал и признал, что её версия ближе всего к налоговой классификации.

Особенное впечатление произвели мои карманы. Из правого достали связку ключей, жетон метро, пластмассовую уточку и чек из аптеки. Из левого — наушники, салфетки и батончик, сплющенный до состояния археологического слоя. Ратибор потребовал объяснить каждый предмет.

Ключи он понял. Жетон принял за княжью тамгу. Наушники назвал ловушкой для ушей. Батончик развернули всем двором. Добромила понюхала, откусила крошку и сказала, что таким кормят мышей перед смертью.

— Это шоколад, — возмутился я.

— Был, — сказала она. — Теперь замазка.

Шумилка всё-таки нажал кнопку на мегафоне. Мегафон пискнул. Шумилка пискнул громче. Козёл Боярин подпрыгнул, снёс ведро и спрятался за Твердило, оставив снаружи только рога.

Ратибор выхватил меч.

— Не надо! — сказал я. — Это просто усилитель голоса.

— Зачем голос усиливать? — спросила Добромила. — Умный и тихо поймёт.

Эта женщина за пять минут уничтожила индустрию рекламы, политические дебаты и половину телевидения.

Мегафон у меня отобрали до утра. Телефон велели завернуть в тряпицу. Уточку Нежка оставила себе на хранение, потому что, по её словам, «она хоть не орёт».

Так закончился мой первый досмотр в древней Москве. Без протокола, понятых и адвоката, зато с козлом.

— Нет, — сказал я. — Это вода из Студенца.

— Студенец сладкий, — сказала Нежка. — А у тебя солёное течёт.

Дальше было много всего, и я помню это не очень отчётливо. Меня подняли на ноги. Ратибор велел мне идти за ним, и я пошёл, потому что выбора не было, а двое парней с копьями шли сзади. Толпа шла следом. Мы поднялись по тропинке на посад и пошли по бревенчатой мостовой между изб. Мостовая была неровная, брёвна прогибались под ногами, а между брёвнами чавкала грязь. Я шёл и смотрел по сторонам, и профессиональная часть моего мозга, которая не умеет выключаться, по привычке вела экскурсию.

«Дамы и господа, обратите внимание на мостовую. Такие мостовые археологи находят на глубине пять-шесть метров. Обратите внимание на плетни. Это ивовые прутья, вплетённые между кольями. Обратите внимание на свинью. Свинья, дамы и господа, тоже домонгольская».

Свинья лежала посреди улицы в луже и не собиралась вставать. Ратибор обошёл её, не глядя. Я тоже обошёл. Свинья проводила меня взглядом. Мне показалось, что в её взгляде было презрение. Свиньи, наверное, тоже не любят понаехавших.

Мы подошли к крепости. Вблизи она выглядела больше, чем снизу. Вал был высокий, мне в два роста, а ров под валом был полон весенней воды. Через ров вёл деревянный мост. За мостом были ворота. Ворота были дубовые, окованные железом, и над ними нависала башенка. В башенке сидел парень с луком и ел репу.

Я посмотрел на ворота и вдруг понял, где мы. Мы стояли примерно там, где сейчас стоит Боровицкая башня. Ну, может быть, чуть в стороне. Через восемьсот лет здесь будут проезжать правительственные машины с мигалками. Через восемьсот лет здесь я буду стоять с уточкой и рассказывать японцам, что Боровицкая башня названа так потому, что здесь когда-то шумел бор.

Бор шумел. Сосны поднимались за стеной, огромные, рыжие, и пахли смолой.

— Боровицкие ворота, — сказал я.

— Чего? — спросил Ратибор.

— Ворота, говорю, у бора. Боровицкие.

— Ворота как ворота, — сказал Ратибор. — Иди.

Внутри крепости было тесно. Избы стояли так плотно, что крыши почти касались друг друга. Посредине была площадка, на ней стояла та самая деревянная церковь, которую я видел снизу, с одной маковкой, крытой лемехом, серебристым, как рыбья чешуя. Рядом была большая

изба на высоком подклете, с резным крыльцом. Перед крыльцом стоял столб, и к нему был привязан конь. Конь был серый и жевал.

— Княж двор, — сказал Ратибор. — Тиун ныне в отъезде, во Владимир поехал, князя великого хоронить. Ворочается через седмицу. Он и решит, чей ты есть и что с тобой делать. Покуда же... — Он оглянулся на мужика с топором, который шёл за нами всю дорогу. — Твердило. Твой Студенец?

— Мой, — сказал мужик с топором неохотно. — Я из него воду беру.

— Твой Студенец, твой и водяной, — сказал Ратибор. — Возьми его к себе. Корми, смотри, чтобы не утёк. Через седмицу тиун приедет, приведёшь.

— Ратибор, — сказал Твердило. — Мне его кормить нечем. У меня Милка, двое ребят, козёл...

— Не положено спорить, — сказал Ратибор. — Взял воду, бери и водяного. Тиун тебе потом зачтёт.

— Он мне ничего не зачтёт, — сказал Твердило. — Он Свищ.

Ратибор сделал вид, что не услышал. Я тоже сделал вид. Я понятия не имел, кто такой Свищ, но по тому, как скривился Твердило, понял, что от тиуна мне хорошего ждать не стоит.

Твердило вздохнул, повернулся ко мне и сказал:

— Пошли, что ли. Как звать тебя?

— Варфоломей.

Он моргнул.

— Как?

— Варфоломей.

— Вахромей, — сказал он, подумав. — Ну пошли, Вахромей.

Так я стал Вахромеем.

Изба Твердилы стояла на посаде, недалеко от реки, в конце кривой улочки. Двор был обнесён плетнём, во дворе были навес, сарай и маленькая мастерская, из которой пахло свежей стружкой. Под навесом стояли бочки. Много бочек: больших, маленьких, совсем крошечных, с обручами и без. Некоторые были ещё не собраны, и их клёпки лежали стопками, как разобранные дрова. Твердило, как я понял, был бондарь. Человек, который делает бочки. Это было неожиданно приятно. Я люблю ремесленников. Я всегда рассказываю туристам, что в Москве каждый переулок назван по какому-нибудь ремеслу. Кузнецкий мост, Каретный ряд, Столешников, Гончарная.

На крыльце стояла женщина. Крепкая, румяная, в платке, с засученными рукавами и с ухватом в руке. Она смотрела на нас так, что я сразу понял: вот кто здесь главный. Не тиун, не Ратибор и не Твердило. Вот она.

— Это что? — спросила женщина.

— Водяной, Мила, — сказал Твердило. — Вахромей звать. Ратибор велел покуда у нас держать. До тиуна.

— Водяной, — повторила женщина. — У нас.

— Не водяной я, — сказал я. — Человек. Здравствуйте.

Женщина посмотрела на меня. Посмотрела на мою куртку. Посмотрела на ботинки, с которых текла грязь.

— Обуйся в сенях, — сказала она. — Нет, разуйся. Ноги вытри. Куда ты в избу в этом жёлтом? Сыми. Твердило, принеси ему что-нибудь сухое. Твою старую рубаху, ту, что с прорехой. Нежка, принеси воды. Шумилка, отстань от него, он кусается.

— Я не кусаюсь, — сказал я.

— Все кусаются, — сказала Добромила. — Иди в избу.

Так я познакомился с семьёй бондаря Твердилы. Добромила, или Мила, как её звали все, оказалась хозяйкой громкой и скорой на руку. Она сразу определила, где я буду спать (на лавке

у двери), что я буду есть (что дадут), куда я положу свои вещи (в угол, и чтобы не трогали), и что я буду делать завтра (видно будет). Она ни разу не спросила, откуда я. Видимо, ей это было неинтересно. Она сразу поняла главное: в доме появился ещё один рот, и этот рот нужно кормить.

Изба была небольшая. Одна комната, большая печь в углу, лавки вдоль стен, стол у окна, полки с горшками. Окна были маленькие, затянутые чем-то мутным, наверное, бычьим пузырём, и света пропускали мало. Печь топилась по-чёрному: дым шёл не в трубу, а под потолок и уходил через отверстие над дверью. Потолок был чёрный, закопчённый, и стены до половины тоже. Пахло дымом, хлебом, овчиной и козлом.

Козёл, кстати, жил в избе. То есть не совсем в избе, а в закутке у двери, за перегородкой. Но перегородка была низкая, и козёл постоянно через неё перегибался. Звали его Боярин. Это был огромный пегий козёл с бородой, как у моего папы, и с такими глазами, какие бывают у бухгалтеров, когда ты им приносишь чеки без подписи.

Боярин посмотрел на меня, перегнулся через перегородку и откусил кусок от моей жёлтой куртки, которую я повесил на гвоздь.

— Эй! — сказал я.

— Не трожь его, — сказала Добромила. — Он у нас старший.

— Он куртку ест.

— Значит, вкусная, — сказала Добромила. — Садись есть.

Мы сели за стол. Твердило, Добромила, Нежка, Шумилка и я. Добромила поставила на стол большой горшок с кашей, деревянные ложки, миску с квашеной капустой, хлеб и кувшин с квасом. Твердило перекрестился. Все перекрестились. Я тоже перекрестился, на автомате, как привык с детства, и Добромила впервые посмотрела на меня с некоторым одобрением.

— Крещёный, — сказала она. — Уже хорошо.

Каша была из полбы. Я понял это не сразу. Сначала мне показалось, что это какая-то разваренная перловка, но потом я вспомнил, что полба была главной кашей на Руси до того, как её вытеснили гречка и пшено. Каша была без соли. То есть соль в ней была, но совсем чуть-чуть, щепотка на горшок. Соль, видимо, была дорогая. Масла не было. Сахара тем более. Мяса не было. Капуста была кислая, хрустящая и очень вкусная.

— Картошки нет? — спросил я машинально.

— Чего? — спросила Добромила.

— Ничего, — сказал я.

— А чаю?

— Чего?

— Ничего, — сказал я. — А помидоров?

Добромила посмотрела на Твердилу. Твердило пожал плечами.

— Он по-своему, — сказал Твердило. — По-водяному.

— Пущай по-людски говорит, — сказала Добромила. — Ешь, водяной. Нету у нас твоих помидоров.

Я ел. Каша была невкусная, но горячая, а я был голодный и замёрзший, и поэтому съел две миски. Шумилка смотрел, как я ем, с открытым ртом и ни разу не моргнул. Нежка смотрела иначе. Нежка смотрела на меня внимательно, как Клавдия Петровна. Как будто проверяла домашнее задание.

— А ты правда из большой Москвы? — спросила она.

— Правда.

— А она большая?

— Очень.

— Больше нашей?

— Нежка, — сказала Добромила. — Не приставай.

— Больше, — сказал я. — Гораздо больше. Там живёт... — Я подумал, как ей это объяснить. — Там живёт столько людей, сколько звёзд на небе.

Нежка подумала.

— А зачем? — спросила она.

— Что зачем?

— Зачем столько людей в одном месте? Им не тесно?

Я открыл рот и закрыл. Я двадцать лет рассказывал про Москву. У меня были ответы на все вопросы. Почему Москву назвали Москвой. Почему Кремль красный. Почему у Василия Блаженного все купола разные. А на этот вопрос у меня ответа не было.

— Тесно, — сказал я честно.

— Тогда зачем? — повторила Нежка.

— Нежка, — сказала Добромила. — Иди спать.

Ночью я лежал на лавке у двери, под старым тулупом, который пах овчиной так, что у меня слезились глаза. Через перегородку на меня смотрел козёл Боярин. Его глаза светились в темноте. Печь остывала и потрескивала. На полатях, под потолком, сопели дети. Твердило храпел. Добромила, кажется, не спала, ворочалась.

Я достал телефон. Восемнадцать процентов. Сети нет. Пятнадцать часов сорок шесть минут восемнадцатого апреля две тысячи двадцать шестого года. Часы в телефоне ничего не знали. Они думали, что я всё ещё у раскопа на Варварке и что сейчас Арина вытаскивает меня из колодца. Я выключил телефон. Батарею надо было беречь.

Я лежал и думал. Думал о маме, которая ждёт меня с Полиной в следующую субботу. Думал о Полине, которая, наверное, уже звонит мне, а я не беру трубку. Думал об Арине, которая сейчас, наверное, вызывает спасателей. И о Клавдии Петровне, которая, наверное, говорит: «Ну я же говорила». Хотя ничего такого она не говорила.

И ещё я думал о том, что всю жизнь гордился тем, что я коренной москвич. В седьмом поколении. Что мои предки ходили по этим улицам, пили воду из этих колодцев. А теперь получалось, что я пришёл раньше, чем мои предки. Раньше, чем дед моего прапрапрадеда родился. Раньше, чем Москва стала Москвой. И никто здесь не считал меня коренным. Для них я был пришлый. Находник. Человек ниоткуда.

Понаехал, одним словом.

Козёл Боярин перегнулся через перегородку и шумно вздохнул мне в ухо. Я отодвинулся.

— Ты тоже не местный, да? — спросил я его шёпотом.

Козёл подумал и откусил кусок от тулупа.

Глава 3. Без бумажки

К концу первой недели выяснилось, что я не умею ничего.

Я, конечно, подозревал это и раньше. В Москве две тысячи двадцать шестого года мне не нужно было уметь ничего, кроме как рассказывать про Москву. Воду мне давал кран, тепло давала батарея, еду давал магазин у метро, а всё остальное давала Полина. Я умел вызывать такси, заказывать пиццу, играть на тромбоне, петь басом «Ныне отпущаеши» и отвечать на вопрос, почему Китай-город называется Китай-городом. Последнее, как выяснилось, никому здесь не было нужно, потому что Китай-города ещё не существовало.

В понедельник Твердило дал мне топор и показал на кучу берёзовых чурок.

— Коли, — сказал он.

Я взял топор. Топор был тяжёлый, с длинным топорищем, отполированным руками до блеска. Я поставил чурку на колоду, примерился, размахнулся и ударил. Топор вошёл в чурку на два пальца и застрял. Я потянул. Топор не вылез. Я потянул сильнее. Топор вылез вместе с чуркой. Я поднял над головой топор с чуркой, как знамя, и ударил ещё раз, обухом о колоду, как делал, я видел, Твердило. Чурка раскололась. Половинка отлетела и попала в козла Боярина, который стоял рядом и внимательно за мной наблюдал.

Боярин не обиделся. Он подобрал половинку и съел.

— Эва, — сказал Твердило, который смотрел на это из мастерской.

«Эва» у Твердилы означало много чего. В зависимости от интонации, это могло быть «смотри-ка», «вот это да», «ну ты даёшь» или «Господи, за что». На этот раз, по-моему, было последнее.

К обеду я расколол восемь чурок. Твердило за это же время сделал бочку. Целую бочку, от клёпки до обруча. Он делал её молча и не торопясь, но у него в руках всё ложилось само, как у хорошего органиста, который не смотрит на клавиши. Я смотрел на него и думал, что за всю свою жизнь не сделал руками ничего, что можно было бы назвать вещью. Ну, кроме уточки. Уточку я сделал. Изолентой.

Во вторник Добромила дала мне коромысло и два ведра.

— На Студенец, — сказала она. — Четыре ходки. И не разлей.

Я пошёл на Студенец. Вёдра я донёс до родника пустыми и без происшествий. Наполнил. Поставил коромысло на плечо. Поднялся. Коромысло качнулось вправо, ведро ударило меня по колену, я качнулся влево, второе ведро ударило меня по другому колену, и я сел в родник. Вёдра упали рядом. Одно уплыло.

Нежка, которая пошла со мной, чтобы смотреть, выловила ведро и принесла мне. Она ничего не сказала. Она просто стояла и смотрела, как я сижу в роднике. Потом она сказала:

— Ты обратно в Студенец хочешь?

— Нет, — сказал я. — Это я случайно.

— А мне показалось, хочешь.

— Хочу, — признался я. — Но не так.

Нежка кивнула, как будто всё поняла. Потом она показала мне, как держать коромысло. Не на плече, а на двух плечах, за шеей, и придерживать вёдра руками, чтобы не качались. И идти не широким шагом, а мелким, плавным, как будто плывёшь. Она показала, как это делается, с двумя полными вёдрами, и прошла так метров двадцать по тропинке вверх, не пролив ни капли. Ей было десять лет. Она весила раза в три меньше меня.

Я попробовал. Пролил половину. Но донёс.

— Две ходки, — сказала Добромила, когда я поставил вёдра в сенях. — Я тебе сказала четыре.

— Это две, — сказал я. — По полведра.

Добромила посмотрела на меня так, что я пошёл ещё раз. И ещё.

В среду я помогал Твердиле в мастерской и сломал три клёпки. В четверг пас козла и потерял козла. Козла нашли через час в церкви на Бору, куда он зашёл, потому что дверь была открыта, и где он съел половину веника и пытался съесть подол священника.

Священника звали отец Агапит.

Он был невысокий, широкий, с огромной седой бородой, в которой застряли крошки, и с таким басом, что, когда он сказал «Ох, Господи», у меня по спине побежали мурашки. Это был бас, ради которого регенты продают душу. Октавист. Настоящий. Моя мама отдала бы за него весь свой хор.

— Твой? — спросил отец Агапит, держа козла за рог.

— Бондаря Твердилы, — сказал я. — Я его пас.

— Плохо пасёшь, — сказал отец Агапит.

— Плохо, — согласился я.

Отец Агапит посмотрел на меня внимательнее. Посмотрел на мою бороду, на джинсы, на ботинки. Жёлтую куртку я в тот день оставил в избе, на мне была старая рубаха Твердилы с прорехой под мышкой, которую мне дала Добромила, но джинсы и ботинки я не снимал. Их у меня просто не на что было сменить.

— Ты и есть водяной? — спросил отец Агапит.

— Я и есть, — вздохнул я.

— Про тебя по всему посаду бают, — сказал отец Агапит. — Что ты из Студенца вылез. Что глаголешь по-книжному. Что ты либо чернец беглый, либо грек, либо колдун. Ты кто?

Я подумал, что врать священнику, наверное, нехорошо. Тем более в церкви. Но сказать правду я тоже не мог. Вернее, мог, но тогда меня бы, наверное, сразу отвели к тиуну как сумасшедшего. Поэтому я сказал полуправду.

— Я сын священника, отче, — сказал я. — Отец мой служит в храме, далеко отсюда. Мать моя правит хором. Я вырос на клиросе. Читать и петь умею. Больше ничего не умею.

Отец Агапит прищурился.

— Пой, — сказал он.

— Что петь?

— Что хочешь.

Я подумал секунду. Потом встал посреди маленькой деревянной церкви, в которой пахло воском, ладаном и козлом, набрал воздуха и запел «Свете тихий». По-старому, знаменным распевом, как пела мамина сестра, тётя Лида, которая всю жизнь занималась древними распевами и заставляла меня учить их наизусть, когда мне было двенадцать. Тогда я её ненавидел. Сейчас я мысленно поцеловал её в обе щёки.

Я пел, и голос у меня отражался от бревенчатых стен, поднимался к маленькому куполу и возвращался ко мне. Акустика была отличная. Дерево вообще звучит лучше камня, это я знал ещё по оркестру: деревянные залы тёплые, а каменные холодные. Козёл Боярин перестал жевать и слушал. Отец Агапит слушал, закрыв глаза.

Когда я закончил, он долго молчал.

— Распев не наш, — сказал он наконец. — Похож, а не наш. Ты откуда такой распев знаешь?

— Тётка учила, — сказал я честно.

— Любопытно зело, — сказал отец Агапит.

Это было его любимое выражение, я потом это выяснил. «Любопытно зело», то есть «очень интересно». Он говорил это про всё: про новую икону, про двухголового телёнка, которого ему показывали прошлой осенью, про иноземную монету, про ворону, которая научилась открывать крышку бочки. У отца Агапита в подклете стоял сундук, в котором он хранил «дива», то есть всякие диковины. Там были засушенная морская звезда, которую ему привёз

какой-то купец с Варяжского моря, кусок янтаря с мухой внутри, кривой гвоздь, который, по легенде, вытащили из ноги у святого, и коровий рог необычной формы. Отец Агапит очень гордился своим сундуком и показывал его всем, кто соглашался смотреть.

Я согласился. И когда он показал мне всё, он спросил:

— А у тебя, сыне, есть что-нибудь дивное? Говорят, ты в жёлтом ходил.

Я подумал и достал из внутреннего кармана паспорт. Паспорт у меня был в непромокаемой обложке, и он пережил колодец. Я раскрыл его и показал отцу Агапиту первую страницу.

Отец Агапит посмотрел на обложку и замер.

— Орёл, — сказал он шёпотом.

На обложке был золотой двуглавый орёл. Я, честно говоря, никогда о нём не задумывался. Орёл и орёл. А отец Агапит смотрел на него так, как будто увидел живого ангела.

— Царьградский орёл, — сказал он. — Двоеглавый. У царя греческого такой. Я видел такой на печати, когда в юности был во Владимире у владыки. Откуда у тебя царьградская печать?

Я открыл рот и закрыл. Двуглавый орёл. Ну конечно. В тысяча двести двенадцатом году двуглавый орёл не был гербом России. Его привезёт Софья Палеолог через двести шестьдесят лет. А сейчас это был знак Византии, Царьграда, самого великого города на свете. Отец Агапит держал в руках мой паспорт и думал, что держит грамоту греческого императора.

— Это не печать, — сказал я. — Это просто знак. У нас в земле у всех такие.

— У всех? — переспросил отец Агапит. — У всех людей в твоей земле царьградские орлы?

— У всех.

Отец Агапит посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Потом снова на паспорт. Потом он перевернул страницу и увидел мою фотографию.

Тут я понял, что сделал ошибку.

Отец Агапит выронил паспорт. Перекрестился. Поднял паспорт. Посмотрел на фотографию. Посмотрел на меня. Опять на фотографию.

— Это ты, — сказал он.

— Я.

— Кто тебя так написал? Какой изограф?

— Это не изограф, — сказал я. — Это машина. Аппарат. Нажимаешь на кнопку, и он пишет.

— Любопытно зело, — сказал отец Агапит очень тихо. Потом ещё раз: — Любопытно зело. Сыне, а дай мне это в сундук.

— Не дам, — сказал я.

— Я тебе дам за это янтарь с мухой.

— Не дам, отче. Мне это нужно. Без этого я никто. Это мой... — я подумал, как сказать, — это моя грамота. Кто я, откуда, где живу. Без неё меня дома не пустят.

Отец Агапит вздохнул так, что в лампаде качнулось пламя.

— Ну, хоть приходи показывать, — сказал он. — А что тут написано?

Я прочитал ему, что там было написано. Вознесенский Варфоломей Феодосьевич. Пол мужской. Дата рождения. Место рождения: город Москва.

На последних словах отец Агапит поднял брови.

— Москва? — сказал он. — Ты тут рождён?

— В другой Москве, — сказал я устало. — В большой.

— Любопытно зело, — повторил отец Агапит, но уже как-то задумчиво. И больше ничего не сказал.

В субботу вернулся тиун.

О его возвращении весь посад узнал задолго до того, как он въехал в ворота. Его возок было слышно за версту: колёса скрипели, кони храпели, а возница орал на них так, что по реке шло эхо. Тиуна звали Вышеслав, но так его не звал никто. Все звали его Свищ. Сначала я думал, что это из-за того, что у него свистит в носу. Потом я его увидел и понял, что дело в другом.

Свищ был толстый, низенький, с румяными щеками и маленькими глазками, бегавшими туда-сюда, как мыши. Одет он был лучше всех, кого я тут видел: в синий кафтан с шёлковой оторочкой, сапоги с загнутыми носами и шапку с куньим мехом. На пальцах у него были перстни. А когда он говорил, у него присвистывало на каждом «с». Не сильно, но заметно. Как будто в горле у него сидела маленькая дудочка.

— Ссскажывай, — сказал он мне, — кто ты таков?

Меня привели к нему в княжий двор, в ту самую большую избу на подклете. Свищ сидел на лавке, покрытой ковром, и ел пряник. Рядом с ним стоял Ратибор. За мной стояли Твердило и отец Агапит, который сам пришёл, его никто не звал.

— Варфоломей, — сказал я. — Вознесенский.

— Чей?

— Свой собственный.

— Сссвой собственный, — повторил Свищ и откусил пряник. — Такого не бывает. Человек всегда чей-то. Ты чей холоп? Чей закуп? Из какой земли? Кто за тебя поручится?

— Я свободный человек, — сказал я. — Я из далёкой земли. Я тут случайно.

— Сссвободный, — сказал Свищ. — Сслучайно. А кто подтвердит, что ты сссвободный?

Я достал паспорт. Свищ посмотрел на паспорт. Увидел орла. Перестал жевать.

— Это что?

— Моя грамота, — сказал я. — Там написано, кто я.

— Чья печать?

— Царьградская, — сказал отец Агапит быстро, прежде чем я успел открыть рот. — Двоеглавый орёл. Сам видел, сам трогал. Такого орла у нас никто не делает, тиуне. Во всей Владимирской земле.

Свищ взял паспорт двумя пальцами, как дохлую мышь. Повертел. Открыл, увидел фотографию, побледнел, закрыл. Сунул обратно мне в руки и вытер пальцы о кафтан.

Свищ, однако, быстро справился с испугом. Чиновник в нём победил человека.

— Имя? — спросил он.

— Варфоломей Вознесенский.

— Отчество?

— Феодосьевич.

— Чей человек?

— Сам по себе.

Свищ посмотрел на меня с жалостью. Сам по себе в его мире мог быть только покойник, и то первые три дня.

— Где двор?

— Пока у Твердилы.

— Значит, Твердилин.

— Не значит.

— На чьей земле стоишь?

— Московской.

— Значит, княжий.

— Я гражданин Российской Федерации.

— Чего?

Отец Агапит кашлянул и сказал, что Федерация, должно быть, дальняя волость за Царьградом. Свищ потребовал назвать волостеля. Я назвал президента, но тут же понял, что сделал хуже. Имя показалось Свище подозрительно коротким, а должность — неприлично длинной.

Он велел принести бересту и начал составлять запись. Писарь у него был молодой, с чернилами на носу. Записывал медленно, высунув язык.

— Вар-фо-ло-мей, — диктовал Свищ. — Пришлый. Без двора. Без господина. Имеет орла о двух головах, говорящую трубу и собственный лик на коже.

— Не на коже, а на пластике.

Писарь остановился.

— Плас-ти-ке, — повторил он. — Это урочище?

— Пишите «на дощечке».

— Дощечка мягкая, — заметил Ратибор.

— Очень хорошее дерево.

Свищ прищурился.

— Подать платишь?

— Какую?

— Всякую.

Я объяснил, что только прибыл и дохода не имею. Свищ оживился: отсутствие дохода в его представлении никак не мешало наличию налога. Он перечислил мостовую пошлину, торговую, гостевую, водяную и какую-то «за дым», хотя я не курил и вообще был мокрый.

— А за воздух у вас пока не берут? — спросил я.

Свищ задумался.

Отец Агапит наступил мне на ногу.

— Не подсказывай, — прошептал он.

В конце концов Ратибор поручился за меня до выяснения. Свищ был недоволен, но запись закончил и велел писарю поставить знак.

— Вот теперь ты есть, — сказал он.

— А до этого?

— До этого тебя не было.

Я посмотрел на паспорт в руке. В моём времени без бумажки ты был букашкой. Здесь, как выяснилось, без бересты ты не был даже букашкой. Букашку хотя бы можно было увидеть.

— Колдовсская вещь, — сказал он.

— Царьградская, — поправил отец Агапит.

— Колдовсская царьградсссская, — сказал Свищ. — Ладно. Грамота у тебя, может, и есть. А поручителя нет. А без поручителя ты изгой. Ни роду, ни племени. Ни двора, ни кола. Что с тобой делать, ссскажи на милость? Изгой в городе либо холопом сстановится, либо уходит. Тебе куда?

Я понял главное. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Это правило работало и в тысяча двести двенадцатом году. Только бумажка здесь была не бумажка, а человек, который скажет за тебя слово. Поручитель.

— Я поручусь, — сказал отец Агапит.

Все повернулись к нему.

— Ты, отче? — спросил Свищ. — За водяного?

— За сына священника, — сказал отец Агапит. — Он поёт, как ангел, и читает по-книжному. Я его в церкви слышал. Человек он православный. А что из Студенца вылез, так Иона вон из кита вылез, и ничего.

— И я поручусь, — сказал Твердило неожиданно.

Я обернулся на него. Твердило стоял, переминаясь с ноги на ногу, и смотрел в пол.

— Ты, бондарь? — спросил Свищ.

— Я, — сказал Твердило. — Он у меня седмицу живёт. Дров колоть не умеет. Воду носить не умеет. Бочку сломал. Козла упустил. Но не вор. Ни разу ничего не взял. А у меня в мастерской клёпка дубовая лежит, её всякий бы взял.

Мне захотелось его обнять. Твердило, наверное, заметил это, потому что отодвинулся.

— Ну, ладно, — сказал Свищ недовольно. — Двое поручителей. Поп и бондарь. Добро. Живи, водяной. Но мыто за прожитьё изволь платить. Как всякий пришлый. Куна в седмицу.

— Чем же я буду платить? — спросил я. — У меня нет денег.

— А это не моя печаль, — сказал Свищ и доел пряник. — Работай.

— Что я буду делать?

— А что ты умеешь?

Я подумал. Сказать, что я умею рассказывать про Москву, было бы глупо. Сказать, что я умею играть на тромбоне, было бы ещё глупее. Сказать, что я умею петь, было уже лучше, но церковному певцу здесь, наверное, платили не больше, чем мне в моём оркестре.

— Говорить, — сказал я наконец. — Я умею громко говорить.

— Громко говорить и я умею, — сказал Свищ.

И тут ему повезло. Или мне повезло. До сих пор не знаю, кому из нас.

Дверь распахнулась, и в избу ввалился старик. Старик был сухой, жилистый, с бородой до пояса, а в руках держал медную трубу. Короткую, витую, похожую на пастуший рожок. Он что-то сказал Свищу, но сказать у него не получилось. Изо рта у него вырвался хрип, как у проколотой камеры. Он закашлялся, покраснел, ещё раз попытался что-то сказать и снова захрипел.

— Ах ты ж! — сказал Свищ и вскочил с лавки. — Кудим! Ты что?

Старик Кудим показал на горло и замахал руками.

Это был бирюч. Я понял это сразу. Бирюч, глашатай, человек, который выходит на торг и громко объявляет княжеские указы, новости, цены, приезды купцов и всё прочее, о чём должны знать все. Без бирюча в городе нет ни радио, ни телевизора, ни сайта мэрии. Бирюч и есть сайт мэрии. И вот этот сайт мэрии стоял сейчас посреди избы и хрипел, потому что, как я позже узнал, вчера он объявлял на торгу приезд тиуна, кричал под дождём три часа и простудил горло.

— Указ! — сказал Свищ в отчаянии. — Мне указ кричать! Про великого князя! Про то, что Юрий Всеволодович сел во Владимире! Ныне же! Народ ждёт! А он хрипит!

Кудим хрипел.

Свищ посмотрел на Ратибора. Ратибор пожал плечами: он, мол, стражник, а не бирюч. Свищ посмотрел на отца Агапита. Отец Агапит развёл руками: он, мол, священник, а не бирюч. Свищ посмотрел на Твердилу. Твердило опустил глаза.

Свищ посмотрел на меня.

— Ты, — сказал он. — Ты ссказал, ты умеешь громко.

— Умею, — сказал я.

— Иди на торг. Кричи указ. Кудим тебе ссскажет, что кричать. Ссумеешь, будет тебе мыто прощено на месяц. Не сссумеешь, будешь холопом. Моим.

Это была сделка, от которой невозможно отказаться.

Через полчаса я стоял на торгу. Торг был на берегу реки, у пристани, на широкой утоптанной площадке между амбарами. На торгу было людно. Суббота, весна, только сошёл лёд, пришли первые купеческие лодки. Торговали рыбой, хлебом, мёдом, воском, кожами, льном, горшками, ножами, лаптями и бог знает чем ещё. Пахло рыбой и мёдом одновременно. Кричали продавцы, кричали покупатели, блеяли овцы, ржали кони, лаяли собаки.

Посредине торга стоял большой камень. Я узнал его потом: это был бирючий камень, на него вставал бирюч, когда объявлял указы. Кудим подвёл меня к камню и шёпотом, хрипя,

повторил мне указ ещё раз. Я запомнил его с первого раза. У меня профессиональная память на тексты. Я двадцать лет помню наизусть экскурсию по Кремлю на трёх языках.

Я влез на камень.

Народ не обратил на меня никакого внимания. Ну, стоит какой-то длинный мужик в рваной рубахе на бирючьем камне. Ну, и пусть стоит.

Тогда я сделал то, о чём думал всю дорогу. Я отстегнул от пояса мегафон. Включил. Мегафон был водонепроницаемый, как и телефон, и тоже пережил колодец. Зелёная лампочка мигнула. Батарея была почти полная: я её заряжал перед экскурсией.

Я поднёс мегафон к губам и сказал:

— Уважаемые москвичи и гости столицы!

Над торгом грянуло так, будто сам Господь Бог заговорил с небес. Мегафон у меня мощный, его слышно за триста метров. Звук отразился от реки, ударился в стену крепости на холме и вернулся обратно. Овцы шарахнулись. Кони заржали и встали на дыбы. Собаки залаяли и поджали хвосты. Половина продавцов присела. Вторая половина упала на колени. Какая-то баба уронила корзину с яйцами. Рыбак выпустил из рук сома, и сом поскакал по торгу, извиваясь, как змея.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.